



- Леонид Бежин.** Колокольчики Папагено. *Рассказ*  
**Валерий Бочков.** Хрустальный глаз. *Короткая повесть*  
**Юрий Ильин.** Salvatio. *Роман (фрагмент)*  
**Михай Ловский.** Горбун из Тишима. *Нереальная история*  
**Михаил Бару.** Слова в песне сверчков. *Миниатюры*  
**Теннесси Уильямс.** И вот шаги звучат все ближе. *Рассказ*  
**Сергей Катуков.** Корректор Опечаткин. *Маленькая повесть*  
**Платон Беседин.** Ремни. *Рассказ*  
**Вадим Муратханов.** Вирт. *Маленькая повесть*  
**Иван Гобзев.** Кодавр. *Рассказ*  
**Анна Билоус.** Допрос. *Рассказ*

*Леонид Бещин*

КОЛОКОЛЬЧИКИ ПАПАГЕНО

1

В конце девяностых, а именно в столь скорбный для меня день 14 ноября 1997 года умер мой научный руководитель добрейший Патрокл Филиппович Белянкин. Добрейший, чудаковатый и совершенно беспомощный, точнее даже сказать — бесполезный, способный разве что смешить молоденьких и хорошеньких аптекарш (на лекарства он тратил ползарплаты) сочиненными в их честь стихами:

*Я без ума от ваших глаз —  
Меня спасет лишь тромбо асс.*

*Чтобы я от счастья воспарил,  
Мне нужны лишь вы и моноприл.*

*О вас мечтать под сенью лип  
Мне помогает фелодип.*

Ну, и так далее. Подобные стихи он мог сочинять десятками — в зависимости от числа прописанных ему лекарств и декламировать их с актерским пылом, то воздевая руки к небесам, то прижимая их к груди. При этом он любил повторять, что если бы снова женился (жена от него ушла много лет назад), то непременно на аптекарше.

Мною же как своим аспирантом Патрокл Филиппович совсем не занимался и, собственно, не руководил. Седенький, грузный, склонный к одышке, с бисером пота в глубоких бороздках лба (называл это парниковым эффектом), набрякшими йодистого цвета веками и пористым фиолетовым носом, он не давал мне никаких советов. А получив очередной отпечатанный маши-

нисткой (тогда еще были машинистки, перепечатававшие под копирку рукописи) кусок моей диссертации, признавался: «Занятно написано, мой друг. Ты меня кое в чем даже просветил, ей-богу. Благодарствую. А то ведь ничего дельного сейчас и не прочтешь. Все одни вонючие портянки под нос суют и на веревках вывешивают».

Получалось, что моя диссертация, над которой я корпел уже который год, была для него чем-то вроде замены портянкам, вроде развлечения, занимательного чтения, средства от скуки. За этим угадывались веселенькое безразличие ко всему, насмешливый скепсис диванного фронтлера и крамольное убеждение, что защищаться сейчас вообще бессмысленно, поскольку в университете развал и полная неразбериха, кафедры закрываются, наука гибнет и скоро все провалится в тартарары. Это словечко — тартарары — он особенно любил, так же как и другое, заимствованное у Чехова: «Такая, братец, тарарабумбия».

Патрокл Филиппович ждал, что и его со дня на день турнут, вышибут пинком под зад, не посчитавшись с былыми заслугами (своей главной заслугой он считал то, что никогда не доносил). Поэтому он мне внушал: «Дружочек, вы бы сменили руководителя, а то мне, трухлявому старому грибу, долго не продержаться. Отбросьте вы это чистоплюйство. Ради всего святого смените!»

Разумеется, для меня это был повод изобразить благородное негодование, заявить решительный протест, поклясться в верности и проч., проч. Хотя я понимал, что Патрокл Филиппович во многом прав. Он, правда, любил себе подсластить тем, что без конца твердил: вот, мол, кое-что сделал в науке. Со старческим задором бахвалился: «Одних книжек навалял с добрый десяток. Такая вот тарарабумбия».

Но заслуг его уже не признавали. Ни в какие комиссии, ни в какие советы не звали, не давали погреться рядом с властью. В издательский план не включали — изобретали всевозможные уловки, лишь бы отказать. А то и без всяких уловок говорили в лицо: «За свой счет извольте. Пятьсот экземпляров — не больше. Желательно к юбилейной дате». А какой у него счет, если на сберкнижке все сгорело...

Да и, по общему мнению, его книги безнадежно устарели (пропахли нафталином так, что моль от них дохнет). Хотя всеми еди-

нодушно подчеркивалось, что сам он, безусловно, человек честный и порядочный, ничем себя не запятнавший, но разве это заслуга. Этак у нас всем, кто не крадет, ордена бы вешали...

Самое досадное, что в книгах своих он не поспевал за временем, выглядел смешным и удручающе старомодным, как его заношенный пиджак с длинным рядом пуговиц. Иными словами, никого не разоблачал, не обличал, брезгал и гнушался тем, чтобы копаться в грязном белье (а ради истины можно было и не погнушаться). Впрочем, это еще терпимо, но кто стерпит его выпады против своих же преуспевающих коллег. К примеру, одного из них он припечатал словами: «Уролог, не моющий рук». О другом же, бросившемся переписывать свои первые книги, выразился похлеще: «Он замазывает свою благоухающую юность заматерелым дерьмом». Каково!

Но и с этим в конце концов можно смириться. А вот терпеть такие безобразия, как огульные восхваления и благоговейные восторги, расточаемые в адрес Тургенева, Чехова, Маяковского, простите, совершенно невозможно. Семьдесят с лишним лет терпели — хватит! Настала пора трезво разобраться с так называемой великой русской литературой — а была ли она? Может быть, ее, как того мальчика, вовсе и не было?

## 2

Патрокл Филиппович же упрямо противился этим трезвым и объективным разборкам, называемым им не иначе, как вивисекциями. Конечно, это не вменялось ему прямо в вину (у нас, слава богу, свобода мнений), но, понятное дело, раздражало. Скрывать отношение ко всем этим безобразиям тоже никто не собирался, и молодежь учинила кампанию с требованием уволить Белянкина.

Собрания устраивали — митинговали. Гладко причесанные, в строгих очках аспирантки (не из красивых, но из решительных) подписи собирали под воззваниями. Неподписантов провожали шипением и жалящими насмешками. И в конце концов Патрокла Филипповича вызвал к себе декан Геннадий Викторович — факультетский папа, как его называли.

— Дорогой мой, присядьте. — Он указал на свое знаменитое кресло, которое помимо бахромы украшали колокольчики, позва-

нивавшие, если кресло передвигали или в него садились (факультетские остряки в память о колокольцах моцартовского Папагено прозвали их колокольчиками папы Гены). — Вы, конечно, слышали, как у нас тут все кипит. Митинги, призывы, лозунги, резолюции. М-да... — Патрокл Филиппович обеспокоенно заворочался в кресле и немного привстал (бубенцы зазвенели), декан же Геннадий Викторович веско положил ладони ему на плечи и заставил снова сесть. — Но я не об этом — вы ради бога не подумайте. Пускай себе митингуют. Я о другом. Одна наша студентка случайно услышала, как вы в аптеке декламируете стихи. Вот я даже записал: «Когда я приглашу вас в бар, мы там закажем коринфар». Адресовано аптекарше Зине. Что это такое, хотел бы я знать?

Патрокл Филиппович засмутился.

— О, это не совсем удалось. Нужна еще работа, шлифовка, отделка.

— Ага! Как всякий истинный поэт вы взыскательны к собственному творчеству. Похвально, похвально.

— Стараюсь по мере сил... Но годы уж не те.

— Так-так. А я вот пью валидол. Может, вы и для меня сочините? Нашу аптекаршу зовут Лола. Вот вам и хорошая рифма: Лола — валидола.

Патрокл Филиппович задумался, теребя бахрому кресла и слегка позванивая бубенчиками.

— Ну, может быть, так. «Я жажду поцелуев, Лола, как сердце жаждет валидола».

— Замечательно! Вы и впрямь поэт! — Декан сблизил ладони, но перед тем, как заплодировать, участливо спросил: — Не мешают ли вам служебные обязанности заниматься творчеством?

Патрокл Филиппович с готовностью ответил:

— Не мешают, поскольку вы освободили меня от основных курсов и теперь я лишь веду семинары и руковожу аспирантами.

— Руководите? Как-то ваше руководство, однако... не совсем... м-да... Но хорошо, хорошо, — сказал он, потирая ладони, так и не издавшие звук аплодисментов. — А вот другую аптекаршу, сменщицу Лолы, зовут Нина. Нельзя ли воспеть и ее?

— Отчего же! Можно. — Патрокл Филиппович снова зазвенел бубенцом. — «Без вас, прелестнейшая Нина, не жить мне, как без аспирина».

— А не лучше ли — без кокаина? — подсказал декан.

Патрокл Филиппович приглушил бубенцы.

— Не уверен... все же наркотик, знаете ли...

— Да что вы! В поэзии все можно. Тот же Бодлер...

При всем уважении к декану (и Бодлеру) Патрокл Филиппович счел нужным заметить:

— Нет-нет, должны быть известные ограничения.

— Так вы за цензуру выступаете? — наивно обрадовался декан.

— Смотря что понимать под цензурой...

— Нет уж, вы сознайтесь. За цензуру? Против принятого у нас Закона о печати?

В бороздках лба у Патрокла Филипповича бисером сверкнула испарина.

— Уф! — Он вытер лоб обратной стороной ладони. — Ну, и странный у нас разговор.

— Это шутка, уважаемый профессор. Всего лишь шутка. Но все же вы подумайте... определите свое отношение к цензуре. Все-таки вы за или против? И уж как-нибудь нам доложите. — Декан долгим, изучающим взглядом пересчитывал пуговицы на пиджаке Патрокла Филипповича. — Однако не смею задерживать. И желаю здравствовать, — напутствовал декан, особо не рассчитывая, что Патрокл Филиппович его услышит, поскольку тот уже исчез за дверью.

### 3

Этот разговор состоялся 13 ноября, а на следующий день Патрокл Филиппович почувствовал себя неважно. Плохо себя почувствовал. Стало ему совсем худо. Он прилег на диван, постонал, помычал сквозь зубы, и его сердце... возжаждало валидола и других лекарств, которые ему, однако, не помогли — так же, как и вызванная неотложка. И он скончался на руках у врачей и домработницы Маняши, пугливой и слезливой (только испуганно крестилась и глаза платком вытирала).

Похоронили Белянкина на Ваганькове — в той же могиле, где лежали его старики, тоже университетские профессора, но не русисты, как сам Патрокл Филиппович, а античники, знатоки Гомера и Гесиода.

Провожавших его на кладбище было немного и стояли они группками: сын и дочь, прилетевшие из Барнаула, двое-трое друзей по университету, с десятком особо преданных студентов и молоденькие аптекарши, воспетые им в стихах. Они меня (да и всех) особенно растрогали, и я подумал: «Какие милые, не пожалели времени, пришли, гвоздики на гроб положили. И ведь будут помнить, когда, пожалуй, и все забудут».

Мои мысли были прерваны тем, что я услышал голос одного из провожавших — профессора с поднятым воротником плаща, мышинового цвета шарфом вокруг шеи, большими ушами, из которых свалывшейся паклей торчали волосы, и седым бобриком волос. Он наклонился ко мне поближе и взял меня под руку.

— Нас с вами на Ваганькове не положат. Нас где-нибудь за окружной дорогой, на холмике, в лесочке рядом со свалкой, — сказал он и представился, снимая перчатку, пахнущую хорошим мужским одеколоном, и протягивая мне большую бугристую руку: — Барахта Вадим Борисович.

Я тоже назвал себя, добавив при этом:

— Да мы, собственно, знакомы...

— Да, да, это уж я так, для проформы... Вы ведь у Белянкина диссертацию писали?

— Писал...

— Сочувствую вашей утрате. Светлая была личность. На таких земля держится. За университет готов был душу положить. И писал смело, честно, прямо...

— Вы считаете? — спросил я, давая понять своим вопросом, что на этот счет есть и другие мнения и мне о них известно.

— Ах, вы об этом! — Он поморщился, показывая, что охотно пренебрег бы мнениями, о которых тоже был наслышан. — Мало ли что болтают... Одни из зависти, другие по глупости. Я же всегда ценил...

Я счел за лучшее его перебить, чем испытывать на искренность сказанное им:

— Патрокл Филиппович тоже ценил ваши книги...

— Вот как! Жаль, что мы так мало успели побеседовать... А знаете что? Если у вас будут затруднения с поиском нового руководителя, я готов... Тема вашей диссертации мне близка. И не скрою, что вы мне тоже всегда были симпатичны.

Я поблагодарил, стараясь, чтобы моя благодарность не означала немедленного согласия.

— Если позволите, я подумаю

— Думайте. И если надумаете, звоните. — Он вырвал из записной книжки лиловый листок, пахнувший тем же одеколоном, что и перчатки, и размашисто написал свой номер. — Трубку обычно берет внучка, но я ее о вас предупрежу. Может быть, вы вместе мне и поможете. А уж я постараюсь вам пригодиться, — сказал он с особой проникновенной внушительностью, словно на этот раз имел в виду не внучку, а меня одного.

4

Лиловый листочек я сложил вчетверо и спрятал в карман, но сразу звонить не стал. Выждал неделю — не только из вежливости, желания показаться воспитанным и деликатным. Я не сразу решил, кому быть моим новым руководителем, и все-таки решил: Барахте — тем более что он сам мне это предложил. И нечего здесь капризничать: вот, мол, что-то в нем не так. Мне, мол, неприятны его торчащие из ушей волосы, похожие на свалывшуюся паклю, и мышинового цвета шарф. Я не Анна Каренина, в конце концов.

Другие кандидатуры? Да, были. Ну, перебрал я некоторых: нет, не то, не годятся, не подходят. Хотя надо признать, что все не без достоинств, профессора, доктора наук, да еще и с регалиями, но Барахте не соперники.

Вадим Борисович повсюду вхож, принят в самых высоких сферах. И у него есть такое важное преимущество, как его последние книги, имевшие шумный успех и во многом ставшие знаменем времени. О них говорили, писали, их обсуждали и на кафедрах, и в студенческой курилке. И на каменном университетском крыльце между старинными фонарями. И на лавочках в университетском дворике — обсуждали, спорили, горячились. И одна из них попала в *короткий список* — так что ожидалась премия.

Что же было в них нового, смелого и дерзкого, в этих книгах, посвященных тому страшному времени, концу тридцатых годов, а именно тридцать седьмому и тридцать восьмому? Вадим Борисович если и не совсем отказался от авторского текста, то ужал его

до предела, до скупых ремарок, но зато на страницах своих книг щедро предоставил возможность говорить другим.

Его книги — запись застольных разговоров, рассказанных в тесном дружеском кругу анекдотов, доверительных бесед за плотно закрытыми дверями и даже кухонных пересудов. Словом, не громогласных речей, произносимых с трибуны, а мышиноного писка, приглушенного шепотка той эпохи. Когда Баракхту спрашивали, что заставляло его этот шепоток записывать (а записи прятать, чтобы при возможном аресте они не попали на Лубянку), он отвечал шутливо, но с особым, требующим разгадки значением: «Колокольчики Папагено». Отвечал и пристально вглядывался в лица, стараясь угадать, насколько его поняли.

Иными словами, записывал он просто для себя, на всякий случай, по сложившейся привычке. Хотя инстинкт ученого — звучащий в душе колокольчик, — ему подсказывал, что когда-нибудь его записи, глядишь, и понадобятся, что они окажутся нужны всем, — нужны как исторические свидетельства, документы эпохи, бесценный материал.

Так оно и случилось, и я был тому свидетелем...

Я догадывался, на какую мою помощь рассчитывал Баракха, обронивший на кладбище фразу: «Может быть, вы вместе...» Его серия книг была не завершена: он собирался выпустить еще две-три книги. Как я слышал, ему помогала внучка Злата, но она была зоолог, а не филолог, и не во всех случаях могла быть ему полезной. Поэтому Вадим Борисович брался руководить моей диссертацией не без некоторого расчета: я должен был подстраховать его внучку, если ее знаний и опыта окажется недостаточно для обработки собранного материала и подготовки новых книг.

Что я мог возразить? Мне было интересно, тем более что я тоже занимался тридцатыми годами. При этом что скрывать — хотелось поскорее остепениться, стать кандидатом наук, и мелодичный звон моих колокольчиков обещал мне успешную защиту. Все-таки Патрокл Филиппович — при всей своей доброте — был не совсем прав. Все имеет свой смысл.

И все оказывается нужным.

Через неделю я позвонил Барахте и отпрапортовал о своем согласии.

— Ну, вот и славно. Вместе поработаем, — сказал он, намеренно не уточняя, над чем придется больше работать — над моей диссертацией или подготовкой его книг. — В деканате я все оформлю.

— А как вы полагаете, Геннадий Викторович?..

— Наш папа Гена возражать не станет, — заверил меня Барахта, и с тех пор я стал часто у него бывать сначала на правах ученика, которому он покровительствовал, а затем и друга дома.

Жил он не в университетском корпусе на Ломоносовском, а в одном из писательских домов, разбросанных по всей Москве. Квартира в Лаврушинском ему перестала нравиться (туда редко заглядывало солнце), и он обменял Лаврушинский на Астраханский.

Барахте удалось вступить в союз писателей еще полвека назад, и он водил знакомства со многими тогдашними знаменитостями. Их тома стояли рядом у него на полках с задернутой темно-вишневого цвета шторкой. Надо было потянуть за витой шнурок, чтобы отдернуть шторку, отодвинуть стекло и достать тот или иной том с дарственной надписью автора: Леонова, Федина, Фадеева, Гладкова, Алексея Толстого и даже самого Шолохова, чем Вадим Борисович, однако, не очень гордился. Куксился, привередничал, демонстративно пренебрегал. «Лучше бы я дружил с Булгаковым, Платоновым и Мандельштамом. Но вот, дурья башка, просчитался, не угадал», — любил повторять он шутливым тоном, придавая ему некую бутафорскую серьезность или, наоборот, излишнюю — нарочитую — серьезность обращая в напудренную шутку.

Как друг дома я познакомился с его внучкой Златой. Она вышла мне навстречу из сумрака огромной квартиры, почти неотличимая от него, поскольку и сама была одета во все темное, и протянула длинную гибкую руку с мерцавшими на пальцах кольцами. «Достались от бабушки», — сказала она, держа руку так, чтобы я мог задержать на кольцах взгляд, и сразу опустила ее, не позволяя ни пожать, ни тем более поцеловать. Затем, сделав еще один шаг, она попала в полоску света, падавшего из окна, и словно преобразилась. Стали заметны (выступили из темноты) каш-

тановые косы, прихотливо сплетенные из тонких хвостиков, глубоко запавшие серые глаза, вышитая безрукавка, серьги в ушах, напоминавшие колокольцы. Почему-то мне тоже подумалось о них: «Наверное, бабушкины», — в чем я не ошибся.

«Удивительно похожа на Сильвию. К тому же у нее болезненный культ собственной бабки, моей благоверной, — сказал мне Барахта, когда мы остались вдвоем в его кабинете. — Бабка-то, бедняжка, не дожила. Скажу вам по секрету: в лагерь попала. По неосмотрительности, легкомыслию, беспечности. Доказывала всем и себе, что она свободна в своих высказываниях. Куда я только ни писал, в какие кабинеты ни стучался — бесполезно. Ни Леонов, ни Федин, ни Фадеев не помогли. Там, на нарах, и скончалась».

Вадим Борисович с энергией взялся за мою диссертацию. Он все перекроил, многое вычеркнул, убрал из библиографии десятка полтора книг (в том числе и книги Патрокла Филипповича, с чем я поначалу не соглашался, а затем смирился и махнул рукой), попросил переписать введение: «Добавьте сарказма, злости. Сейчас это любят».

Когда все было готово, Барахта сам договорился с ученым советом о моей защите. С кем-то встретился, кому-то позвонил, кому-то послал пышную, как пальмовые листья, телеграмму и после этого сказал мне: «Вашу защиту назначили на конец декабря. Собственно, уже можно банкет заказывать. Заодно и Новый год справим».

Я не был избалован удачами. Мне все давалось с трудом и натугой, и я не привык, чтобы в моей жизни все так быстро, удачно устраивалось. Поэтому я не просто был счастлив, а всякий раз чувствовал прилив умиления и сентиментальной восторженности при мысли о том, как Барахта обо мне заботится, радеет и хлопочет.

Мне страстно хотелось отблагодарить его, и меня томило нетерпение: когда же он попросит помочь ему с книгой! Я всячески намекал ему, что теперь свободен, вынужден предаваться безделью (автореферат разослал, вступительную речь отдал машинистке), и мне не обязательно ждать защиту, чтобы взяться за подготовку книги.

Но Вадим Борисович все как-то откладывал свое поручение, тянул, медлил, и так прошло больше недели. Безветрие. Полнейший штиль. Наконец он позвал меня в кабинет. Позвал (пома-нил) не словами, а жестами, изображая пальцами одной руки шагающего человечка, а палец другой руки прикладывая к губам (в знак того, чтобы человечек шагал как можно тише).

И меж нами состоялся разговор.

— Дружочек, я не стал бы вас обременять, но в издательстве торопят, и я вынужден воспользоваться вашим участием. Я к вам достаточно присмотрелся, вас изучил. Вполне вам доверяю. Не считите это за отработку на барском поле. Ей-богу, таковы обстоятельства. Тысячу раз извините.

Я, разумеется, ответил:

— Ну, что вы, Вадим Борисович! Я вам с радостью помогу, если это в моих силах.

— Помогу-помогу. На ходу и на бегу. Вот видите, я даже стал стихи сочинять, как ваш прежний руководитель.

Я из вежливости польстил:

— У вас получается не хуже.

— Благодарю, мой милый. — Он пододвинул мне стул, а сам присел на кожаный валик кресла, сложив ладони домиком перед носом. — Раньше мне помогала внучка, но что-то с ней случилось. Она у меня замкнутая, скрытная, ничего мне не говорит, но я-то чувствую. Ее словно подменили. Вторую неделю неразобранная кипа моих записей лежит у нее на столе. Меня это, признаться, беспокоит, даже тревожит. Я уж грешным делом подумываю, не явился ли ей признак бабки и не поведал какую-нибудь страшную тайну, как датскому принцу. Ха-ха-ха! С моей внучкой и такое может случиться. Еще как может! Дрянь, истеричка, дура! — вдруг сорвался он под влиянием внезапного гнева (накатило!), после чего заставил себя слащаво и примирительно улыбнуться. — Это, конечно, шутка. Я уж так, по-стариковски — как выживший из ума Лир. Сам, знаете ли, страдаю из-за своей несдержанности, успокоительное пью. Но вы, дружочек, попытайтесь поделикатнее выяснить, в чем тут причина, а потом мне расскажете. Или даже напишите, положите мне в стол, а я прочту. Хорошо? Можно на вас рассчитывать? Вас не смущает моя просьба?

— Ну, что вы! Разумеется, нет, — ответил я.

Хотя просьба меня смущала, но его последний вопрос не позволял мне в этом признаться ни ему, ни самому себе.

7

Барахта отвел мне уголок в одной из комнат, с письменным столом напротив окна, не то чтобы старинным, но сороковых–пятидесятых годов (все ящики стола он запер на ключ). «Надеюсь, здесь вам будет удобно», — сказал он и как особый знак доверия вручил мне ключ от ящиков — на тот случай, если захочется их открыть.

Я стал приходить рано, зажигать лампу с зеленым малахитовым основанием и кремовым колпаком, схваченным понизу медным обручем, и, устроившись за столом (разумеется, ящики я не открывал — избави бог), разбирать бумаги. Кое-что приходилось перепечатывать на старенькой машинке, поскольку от времени странички не только пожелтели, но и местами, особенно на сгибах, истлевали и крошились.

Бумаги были уложены в папки с наклейками: «Анекдоты», «Застольные разговоры», «Кухонный треп». Я начал с последней папки: очень уж хотелось узнать, о чем же в те годы трепались на кухне. Оказалось, что треп был вполне лояльный и патриотичный, и лишь иногда писательская братия позволяла себе ругнуть какого-то Федю. Я долго не мог понять, что это за Федя и почему его ругают, и лишь потом меня осенило: да ведь Федя — это же власть, недаром упоминания о нем у Барахты обведены красным.

Во время моих занятий Барахта совершал моцион, а затем принимал душ и обливался из деревянной бадейки травяным настоем: он суеверно заботился о здоровье, недаром выглядел молодцом, гораздо моложе своих лет. У него был странный обычай: дома ходить босиком, до колен подвернув штанины, или, как он говорил, босяком: «Я босяк, ничего не нажил. А то малое, что все-таки припас, отойдет моей внучке Злате». И еще одна странность. Что бы ни писал Барахта — даже перечень необходимых покупок, — он всегда подкладывал копирку.

После прогулки он занимался в своем кабинете, но недолго: к двенадцати или к часу за ним присылали служебный автомобиль — то из университета, то из министерства, то из Охотного ряда и прочих значных (по его выражению) мест.

Проводив деда, Злата мелькала где-то вдалеке и ко мне не приближалась — не проявляла никакого участия к моим кротовым раскопкам. Вернее, даже проявляла полнейшее безучастие. Только иногда спрашивала:

— Заварить вам чаю, господин аспирант?

Разумеется, я спешил ответить на этот знак внимания, раз уж этих знаков было так удручающе мало:

— Я бы не отказался. Если вам не трудно, будьте любезны...

Она приносила и ставила на стол чашку и чайник, накрытый, за неимением ватной куклы, сберегающей тепло, стеганой садовой рукавицей.

— У вас есть дача? — спросил я однажды, обнаружив на рукавице следы какой-то краски и засохшие крупинки удобрений.

— Заброшенная. Все заросло лопухами и такими трубчатymi растениями с зонтами. Дед дачей не занимается. Он любит отдыхать в писательской Малеевке, — небрежно, досадливо и как-то по-особому удрученно ответила она.

— А ваша мама?

— Мама давно ушла от деда, хоть он ей и отец. Ушла от мужа, за которого вышла не по любви, ушла ото всех. Она тоже не любила дачу. Там когда-то арестовали бабушку — прислали за ней шикарный белоснежный автомобиль.

Злата вызывающе улыбнулась — как бы вопреки ожиданию, что на ее лице после этих слов появится выражение печали и грусти. Я пристально ее разглядывал, затем смутился этого взгляда и, как бы оправдываясь, спросил:

— Скажите, что бы вам хотелось больше всего на свете?

— Чтобы бабушка Сильвия была жива.

— А еще?

— Чтобы мама была рядом, — с той же улыбкой произнесла она, но затем сразу опечалилась и погрузилась.

Такие разговоры происходили меж нами все чаще, особенно в отсутствие Вадима Борисовича. Если не было дома ни его, ни горничной Любаши, убиравшей квартиру и докладывавшей ему о телефонных звонках, полученных бандеролях и присланных счетах, мы могли болтать без умолку, не считаясь с тем, что это, конечно, катастрофически сказывалось на моей выработке. Уголька на-гора я почти не выдавал...

Присутствие же деда чем-то мешало Злате, тяготило ее, вызывало немой протест — и не только в тех случаях, когда он вдруг неслышно возникал за спиной и с саркастической улыбкой произносил: «О чем это вы шепчетесь? Нельзя ли и меня посвятить в ваши секреты?» Нет, даже и тогда, когда он запирался у себя в кабинете, Злата не позволяла мне говорить громко и писала на листочке бумаги: «Тише. Он может услышать», что меня всегда удивляло, поскольку толстые стены кабинета и плотно закрытая дверь, казалось, не пропускали никаких звуков.

А вот когда деда не было, Злату ничего не стесняло, и она пользовалась любым предлогом, чтобы вызвать меня на разговор. Предметы могли быть разные — от прочитанных книг до сушки грибов и побелки яблонь, но особенно Злату притягивало ко мне то, что со мной можно было поговорить о ее бабке и матери. Стоило мне спросить о них, она замирала, затихала, впадала в восторженность и, не успевая мне ответить, ждала от меня новых вопросов.

Я охотно отзывался на это. И постепенно Злата — из своего былого отдаления — стала ко мне приближаться. Она присаживалась рядом, на краешек стула, заглядывала в бумаги, давала мне советы, садилась за машинку и под мою диктовку перепечатывала одну-две странички. А затем и вовсе втянулась, погрузилась, вошла во вкус и даже увлеклась разборкой рукописей, что я не мог не приписать своему влиянию.

Видя нас вместе, Барахта удовлетворенно кивал и незаметно для внучки издали делал мне знаки, значение которых я, конечно, сразу угадывал. Барахта просил забыть о его недавней просьбе. «Не надо, не надо», — округляя губы, беззвучно произносил он и, опасаясь, что я не пойму, то же самое писал пальцем в воздухе. Пусть все идет как идет...

Он был доволен тем, что Злата, позабыв о недавней вражде, снова стала его верной помощницей, и лишь суеверно боялся что-то нарушить, помешать, спугнуть. И, наверное, у него появилась (забрезжила) надежда: а вдруг у нас со Златой что-то возникнет, что-то завяжется — сначала дружба, а там, глядишь, и... И колокольчики Папагено отзовутся на это волшебным и сладким свадебным звоном.

Вскоре он улетел в Варшаву на презентацию своей книги.

9

Я влюбился — не впервые и в то же время впервые. Вернее, как мне казалось, не впервые влюбился и впервые полюбил. А еще вернее, я во всем запутался...

Еще студентом я пережил несколько влюбленностей в моих однокурсниц, которые ничем не кончились, поскольку выбирал их всегда я. И свою влюбленность я ставил на первое место, особо не интересуясь ответными чувствами избранниц и даже не спрашивая, любят ли они меня. Вернее, спрашивать-то я спрашивал, но лишь для того, чтобы услышать: «Да», — и этого было достаточно, чтобы больше не допытываться и не повторять этот вопрос. А уж что скрывалось за этим *да*, какие соображения, расчеты и уловки и насколько оно было искренним и насколько притворным — подобными головоломками я себя не утруждал.

Я был достаточно самоуверен, чтобы не сомневаться в том, что, конечно же, любят, — иначе и быть не может, и в этом-то как раз жестоко ошибался. И в итоге получалось так. В своей любви я оказывался не только несчастен, но и удручающе несвободен, опутан невидимой тонкой паутиной, связан по рукам и ногам.

Теперь же я чувствовал, что избран Златой, и ее выбор поощрял меня к тому, чтобы ему соответствовать. Иными словами, тоже любить, обмирать и восхищаться ею. Это не делало меня зависимым, а напротив, одаривало высшей свободой, поскольку преображало Злату, как ее преобразила когда-то полоска света, падавшего из окна, и такую — преображенную — ее нельзя было не полюбить.

Я, признаться, даже подумывал о женитьбе, о свадебных колокольцах, хотя отсутствие самоуверенности внушало, что ее выбор мог быть вызван не любовью, а чем-то другим (возможно, даже ненавистью),

мне до конца не ясным и недоступным. Это тревожило и мучило меня, и я чувствовал необходимость объясниться, тем более что разбор бумаг мы заканчивали и скоро должен был вернуться из Варшавы Барахта.

И я решился. Не зная, как приступить к объяснению, я в приподнятом тоне заговорил о том, что скоро плоды наших совместных трудов обретут форму новой книги и это будет праздником не только для их семьи, но и для всей науки, даст повод для новых споров и дискуссий.

— Наверное, и ваша бабушка была бы рада, — сказал я, чтобы сделать ей приятное.

Но Злата нахмурилась. Затем взяла в руки несколько страничек из папки, разглядывая их на свет.

— Бабушка? — спросила она с недоумением, призванным скрыть досаду и раздражение. — Но ведь все это — написанные и отпечатанные под копирку вторые экземпляры.

— Экземпляры чего?

— Разве вы еще не поняли! Боже мой, его доносов на Лубянку.

— Как? Неужели? Вадим Борисович?..

— А вот так! Он подкладывал копирку и вторые экземпляры оставлял себе. На всякий случай — а вдруг понадобятся. И вот понадобились. И даже принесли ему такой успех...

Меня как громом поразило. Первое время я не мог ничего сообразить. Я лишь смотрел на ее сплетенные из тонких хвостиков косички и беспомощно улыбался, словно улыбка была моей единственной защитой от всего услышанного. Затем я подумал, что, наверное, ослышался, что Злата пошутила, что я понял все не так или вообще ничего не понял. И это было так сладко — ничего не понимать. Затем я стал торопливо прощаться, извиняться, что-то мямлить, ссылаться на срочные и неотложные дела.

— Подождите. Не будем же мы из-за этого!.. Стойте! Я все обдумала... — Злата попыталась остановить меня, стараясь быть препятствием ко всем моим действиям, загораживая дорогу к двери и не позволяя мне ее открыть.

Защищаться я не стал. Через месяц я женился на аптекарше.

